Александр БАЛТИН

ВСЕЛЕННАЯ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

ПРАВДА АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

Обнаженная боль прикасается к сердцу пространства: оно, как всегда равнодушно, но не может писатель, вышедший из гущи, из дебри людской плазмы, быть равнодушным к жизни народа – ибо она ужасна.

Ужасна и густа, как пищевая, определяющая страсть, как необходимость еды, которой всегда мало, вечно не хватает, а та, что есть настолько далека от правильного рациона, что разговор о справедливости становится невозможен.

Вращаются шестеренки, едут паровозы – красивые, как фантастические звери – ведутся мелиорационные работы: неистовое движение вверх охватывает самые дремучие народные пласты.

О! разумеется, тут нужен язык, какого не ведали прежде: ни писатели, ни читатели.

Сложно вывести языковые корни Андрея Платонова: нечто от Лескова, возможно? Сострадание, полученное от Достоевского? Линии, отчасти идущие от русского сказа?

Будто он – Платонов – появился из самого себя, строя фразу так, как раньше не приходило в голову никому, предлагая алогичные корневые решения и поднимая смыслоемкость предложения на невероятную высоту.

От любого абзаца Платонова устаешь, как от серьезной работы: но настоящая литература и не может быть развлечением: слишком завязана на жизни и судьбах людских.

Даже нежность красок ни в коем случае не акварельна – но сила их занята у самой земли: так звучат «Третий сын» или «Июльская гроза».

В равно степени мастер и короткого рассказа, и монументальности романа, Платонов созидает своеобразную энциклопедию советской жизни, захватывая все моменты, какие только возможны в самом течение яви.

Но Платонов еще и мыслитель, идущий от русского космизма, с мотива всеединства Николая Федорова и прорывами сознания, подобными Константину Циолковскому.

Земное взято густо, но и небесное мерцает фрагментами такой сини, что задумываешься о правде и правильности земного.

Щедро одарил Платонов родную литературу, читателей, и даже не-читателей: ибо книги его заряжены такой энергией, что способны облучать и тех, кто не читает художественных книг: феномен недоказуемый, но, хочется надеяться, вполне реальный.

ТРЕТИЙ СЫН

Смерть – не отъезд в соседнюю губернию, но изменение измерений; и отец, пришедший на почту дать шесть телеграмм в разные концы Советского Союза, думал, возможно, о своих сыновьях, как о находящихся в другом, параллельном пространстве.

Ибо телеграммы были краткими: «Мать умерла приезжай отец».

И рассказ «Третий сын» будет кратким, хотя от телеграфного стиля в языке Платонова нет ничего.

Двадцатый век лучшими своими писателями дал разные варианты стилистики, и были среди них истинно телеграфной жесткости, например, стиль Леониды Добычина.

Было и роскошное цветение сада Бунина и Набокова, был сказово-метафизический стиль Леонида Леонова, но, вероятно, никто не погрузился в языковые глуби и бездны настолько, как это сделал Андрей Платонов.

Самые корни фраз открылись ему, хотя иные выглядят, как вывернутые наизнанку вещевые мешки: слишком вытряхнуто из них привычное, дабы новое наполнение грозило и жгло.

Жизнь тяжела?

Это банально...

Могучая гвардия сыновей, которой любуется отец, выглядит и впрямь мощно и уверенно, и так странно, что мать, давшая столько крепкой плоти миру, оставила себе сухое, сморщенное тело.

...но даже поп, вписанный в рассказ, пришедший на дом совершать панихиду, воспринимается так крупно и выпукло, что становится понятно, насколько умел Платонов просвечивать сущность человека.

Попу, растерявшему, вероятно, веру, но не имеющему вариантов жизни, остается жаждать подвига, произнося ветхие, древние слова и совершая ритуалы, способные ли связать с закрытым миром? Нет ответа...

Но дальше драма проявится во взаимоотношение детей, так редко видящихся; и хотя мать еще не погребена, детское, теплое, озорное захлестнувшее их ночью, и вызвавшее тяжелое недоумение третьего сына, было сильнее их.

Всегда будет кто-то, относящийся к жизни с повышенной серьезностью, – в данном случае таким оказался третий сын.

И именно через него, через рубежный момент траурной ночи, вдруг представшей садом воспоминаний, и углубляется реальность, предложенная нам классиком.

ЧАРЫ ЧУДОВИЩНОГО ЧЕВЕНГУРА

Справедливость должна зародиться естественным путем: из воздуха и почвы, и, коли так, почему бы ей не зародиться в Чевенгуре?

Коммунизм и справедливость были синонимами для Андрея Платонова, как один из ранних псевдонимов его – Человеков – свидетельствовал о желании вместить в себя все разнообразие людей.

Тем не менее, персонажи Чевенгура слишком запредельны: они, с одной стороны, напоминают гомункулусов, хитро выращенных в лаборатории писателя; с другой, идут от таких низин, знание которых сегодня вряд ли кому-то открыто, но было доступно Платонову.

Сгущение фразы выжигает сомнения: плоть повествования слишком реальна – хотя и базируется на фантастическом допущении.

Рабочая сила верна делу пролетариата, как сознательное существо – с почти человеческим разумом.

Небывалые эпитеты, мастерством которых всегда поражала проза Платонова, разрастаются садом, и иные цветы оного достигают экзотической высоты.

Мы едем дальше.

Мы увидим блаженный Чевенгур, где так просто ждать царствия небесного.

Но Иисус Христос, снова проходящий мимо, не посулит нам ничего сверхъестественного.

Кроме памятника романа, растущего из чернозема ради феномена русского космизма, где объединяются мечта и правда.

Дванов, Пиюся, Копенкин.

Мастер Захар Павлович, дети, нищеброды, с ароматной бородкой старик.

Мир, представленный, пронизан лучами абсурда.

Мир, данный на страницах, сияет утопическим золотом.

Пролетарская сила жует траву, ибо даже лошади коммунизма нужен корм.

Есть еще одна, подспудно означенная линия: всякое человеческое знание не полно по определению: мы постигаем только фрагменты мира, и попытки их переустроить всегда несколько неуклюжи.

В определенном смысле – роман «Чевенгур» – вариант Вавилонской башни, и то, что достроить невозможно, свидетельствует о чрезмерной грандиозности замысла...

ХЛЕБ «КОТЛОВАНА»

Упорство, с которым копается котлован под огромное здание с названием «Социализм», постижимо Вощевым лишь отчасти, ибо имеющий склонность задумываться над ходом вещей вообще, он не очень полагается на множественные усилия.

Ребенок будет жить за вас! – говорит Вощев ругающимся родителям, с биологически-метафизической точностью обозначая простую сущность жизни.

Над хлебом можно ли думать?

Уродливый безногий, вымогающий еду у имущего, не столько отвратен, сколько выехал на своей тачке из Босха...

Отчасти босхиана и творится кругом – с лицами, слепленными из земли, с размахом пищевой страсти, кормежки, съедающей столько жизненного времени и пространства.

Пространства всегда в избытке, и то, что человек, легши лицом в траву, видит корни травинок и рабочую суету муравьев, только подчеркивает звездность бесконечного неба.

Бесконечное нагромождение Платоновских эпитетов завораживает: словно реальность языка вывернули наизнанку.

Или так перетряхнули мешок слов, что перемешались они, дав новые узоры.

Абзац тяжел, как буханка, и его можно резать, чтобы проще было съесть (прочитать).

Ухает медведь-молотобоец.

Копается грандиозная яма.

Верит ли Вощев в социализм, какой предложит людям подлинную меру?

Верил ли в него сам Платонов?

Порою кажется – не особенно, понимая, что если фразы можно изгибать так, как гнул он, то всякое человеческое начинание достаточно условно – ибо человек зависим от языка, и в большой мере формируется им.

И феномен языка Андрея Платонова будет поражать и облучать следующие поколения – по крайней мере, какое-то число их представителей.

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ В НЕДРАХ ТВОРЧЕСТВА ПЛАТОНОВА

Земное, изученное Платоновым до йот – мелиорация, нищебродство, электричество, жизнь масс, густота плазмы, прущей к чему-то...

Что, может быть, зародилось само, будучи справедливостью?

Ибо не зря же едет герой на Пролетарской силе в страну коммунизма, которая оборачивается чудовищным Чевенгуром.

Ибо не зря же копают, денно и нощно, усердно, без всякой меры яму под будущий социализм...

Почему-то Платонов «Третьего сына» и «Июльского ливня» нежнее, и в чем-то ярче, чем Платонов двух великих, монструозных романов (попробуйте-ка даже неглупому современному старшекласснику привить любовь к подобному языку!)

Язык-слом?

Язык-откровение?

Так, люди-маски Зощенко говорят на невозможном волапюке, – выдранные из деревень, хлынувшие в города, живущие только низовым, пищевым, толстым – и все равно: в чем-то выше предыдущих, ибо не зря же разворачивалась мистерия великого октября, не для того же, чтоб Троцкий, по его дневниковой записи, объедался икрой после захвата власти.

...Платонов и Ван Гог. Нелепость? Но фразы Платонова, словно мазки Ван Гога: раны, кричащие о будущем счастье.

Платонов и Циолковский. Логичнее – ибо фиалковый космос Циолковского призывает человека к дальнему пределу: не говоря о постижении ближнего.

Платонов и Николай Федоров – старый, с хитроватым прищуром русский философ, встающий в своей каморке с сундука и глядящий в такие бездны, что у Льва Толстого захватывало дух (вроде бы, граф говорил о счастье быть современником Федорова).

...ибо общее дело делается через Чевенгур, через бесконечный котлован, пусть кажется оно абсурдным, оно – как из Библии, из Ветхого завета – столь огромно, что муравьи, принимающие в нем участие, не могут знать о конечной цели.

Муравьи вырастут, нарушая законы природы – сравните уровень грамотности 1913 года и... 1933, хотя бы.

Муравьи вырастут – и в этом будут линии общего дела, и зеркальный блеск русского космизма, играющий в недрах текстов Андрея Платонова.

Монструозных текстов.

Великих текстов.

...но галереи образов у него нет – то есть есть, конечно, масса персонажей, но напоминают они Големов, гомункулусов, выращенных лабораторно: не представить же, как Чичикова или Раскольникова, Дванова и Пиюсю?

Тут иное: тут неустанная работа языка, язык как персонаж – и истории, и истории советской республики; язык, делающий нас, формирующий наши сознания, опороченный и полузабытый сегодня: превращенный в банальный передаточный механизм...

И только ради этого – необъяснимого цветения и благоухания языка– стоит вчитываться в каждую фразу и абзац Андрея Платонова...

ТИХАЯ МОЩЬ НИКОЛАЯ РУБЦОВА

1

Необыкновенное, тонкое и грозное ощущение Руси у Рубцова выливается в чеканную формулу:

Россия, Русь! Храни себя, храни!

Сколько мет истории, сколь пышных и ярких звезд высыпано в реальность этим стихотворением:

Пустынный свет на звёздных берегах
И вереницы птиц твоих, Россия,
Затмит на миг
В крови и жемчугах
Тупой башмак скуластого Батыя!..

Любовь к Руси – не просто характерная черта всякого большого русского поэта: это код творчества, у Рубцова данный в напевности и метафизическом осмыслении дымных исторических далей и торжественного движения рек:

...Как я подолгу слушал этот шум,
Когда во мгле горел закатный пламень!
Лицом к реке садился я на камень
И всё глядел, задумчив и угрюм,
Как мимо башен, идолов, гробниц
Катунь неслась широкою лавиной,

И кто-то древней клинописью птиц
Записывал напев её былинный...

Клинопись птиц – мимолетное и навсегда остающееся в сознанье движение: небесных буквиц, сложенных в дыхание легенд, небесных знаков, дающих грозное или великое предзнаменованье...

«Философские стихи», звучащие сгустками смыслов, уводят лестницей времени к осмыслению бытийного кода: будто дается через образный строй, поддержанный необыкновенной напевностью, код самой Руси...

Но «Философские стихи» – это и подспудный ключ, родником бьющий в большинстве стихов мастера, ибо без осмысления жизни нет жизни: холостая инерция тела, не более.

А Рубцова в той же мере можно посчитать поэтом-философом, как и словесным живописцем русской жизни – всегда на фоне великолепно выписанных пейзажей.

...ибо и тяжесть может обернуться легкостью.

Ибо – угрюмо – столько раз повторенное в одноименном стихотворение, кончается провидческим просветлением:

И стало угрюмо. Угрюмо
И как-то спокойно душе.

Поскольку без высокого спокойствия, выношенного лучшими сынами Отечества, жизнь зашла бы в тупик – когда не провалилась бы в гнилую яму.

2

Холмы возникают как символы пейзажа, жизни, тревоги; ибо спокойствие подразумевает гладь; холмы в стихотворение Рубцова, исполненном исторического движения, возникают, светясь былым:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...

Тут не будет «еловой готики русских равнин», и каждая строфа будет замкнута на замок точки; готика эта, перенасыщенным культурологическим раствором, возникнет у Бродского – в стихотворение «Ты поскачешь во мраке...»

И там, и там быстрое движение.

И там, и там холмы...

Невозможен лесной царь, обернувшийся к стихотворению Рубцова; невозможна жалость к разрушенным церквям в стихотворение Бродского.

Невозможно сближение – и вместе – оно очевидно: так, на противоречиях держится многое.

Таинственная тревога, разлитая в строфах Бродского, пропитана светом луны: или даже – солнцем луны: приглушенным, холодным.

Таинственное путешествие по временам у Рубцова согрето необыкновенной грустью, разлитой в недрах всего его поэтического свода.

Конский топот, страх, одиночество всадника.

Щедрость пейзажа, оборачивающаяся его скудостью.

Движение и холмы, холмы и движение...

Рубцов завершает стихотворение более прозаически; Бродский уже глаголет не о жизни, а о:

... а другая какая-то боль
приникает к тебе, и уже не слыхать, как приходит весна,
лишь вершины во тьме непрерывно шумят, словно маятник сна.

Словно проскакав положенное, некто оказывается в запредельности.

Или, может быть, не было скачки?

Или все приснилось всаднику?

Возможно, и стихотворения, такие разные, во многом перекликающиеся просто приснились авторам, в результате чего поэзия, несомненно, выиграла...

3

Таинственные мерцания, непроизвольно ощущаемые чутким читателей, за поэтической формой и сутью стиха, свидетельствуют – помимо подлинности дара – о ненаписанности стихотворения, а об услышанности его, доказуя, таким образом (пусть косвенно), наличие иных измерений, помимо нам привычных.

Ибо – откуда приходят стихи, часто неизвестно и самому поэту...

Ибо, когда мы читаем (перечитываем):

В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмёт ведро,
Молча принесёт воды...

Мы ощущаем магические, волшебные вибрации: тайны, космоса, далеких недр мироздания.

Самые простые слова, простейшая картинка деревенской жизни, но...

Ведь ночью не приносят воду!

Так не положено, а у сербов (братская культура, братская же мифология) принесенная ночью вода считается не чистой и питию не подлежит.

Так возникает потусторонний колорит, и вся картина, выписанная словесным мастерством Рубцова виртуозно, точно увидена сквозь пленку, характерную для потустороннего существования, про которое ничего не известно...

Банально повторять, что поэт предчувствовал раннюю смерть, однако вчитываясь:

Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниёт совсем.

Ощущаешь, будто означенные строки именно живописуют не совсем обычную реальность, и лодка... вовсе не то транспортное средство, что известно всем.

И хоть дальше говорится о грядущем дне, завершение стихотворения можно воспринимать двойственно:

Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Лодка тут, возможно, та, что увозит в последнюю запредельность...

Так, вроде бы простой деревенский колорит стихотворения раскрывается вдруг совершенно инако: оно вырастает до фантастического мистического цветка, чьи лепестки отсвечивают такой тайной, которую разгадать не представляется возможным.

4

Святая Русь и Родина-мать; волшебный, осиянный Китеж, бесконечно всплывающий и никак не всплывущий; богатыри, потесненные современностью; святые, оставшиеся в золотых недрах веков...

Мало у какого народа есть такое отношение к Родине.

Старая добрая Англия?

Да, но это больше связано с земным.

Прекрасная Франция?

Опять же – шанс победы...

Разве что матерь Индия, великая, переливающаяся огнями небесных самоцветов страна...

И – Русь.

И мало кто из поэтов так выразил чувство Родины, жившее во многих (сейчас уже – под гнетом технократизма и колоннами капитала – вряд ли):

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Хрестоматийные, но каждый раз по-новому звучащие строки; нежность тишины, всеприемство – в духе великого утописта и провидца Николая Федорова – данные началом стихотворения:

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.

Тут тишина икон, великое молчание пакибытия, разлив смыслов, как разлив рек, чьи излучины так серебряно-точно передавал Михаил Нестеров.

Рубцову достаточно бы было написать одно стихотворение, чтобы засияло оно, каждой гранью облучая грядущих людей, достаточно, но...

У него – несмотря на его полубезумную, архитяжелую, насквозь пробитую жизнь – целый пласт стихов; стихов, где слова стоят густо, где подогнаны они одно к другому так, что невозможен скальпель критического разреза:

Стоит жара. Летают мухи.
Под знойным небом чахнет сад.
У церкви сонные старухи
Толкутся, бредят, верещат.

Это – навскидку, просто пример, выписывать можно долго.

Но главное, что определяло, что звучало через стихи Рубцова: голос России – России тихой, со скорбными избами, бесконечными, уходящими в «небеси» пластами полей; и будущей: России Китежа, солнца духа, и света, которого нам не представить сейчас.

5

От родного воздуха – то прокаленного зимним морозом, то прогретого лучевой силой солнца – идущие стихи: с тою мерой естественности, как будто и не написаны они: услышаны, со зримостью образов, точно перешедших, легко и добровольно, в них такие народные...

Понятие «народность» – применительно к поэзии – сильно третировалась последние годы, пожалуй, оно вообще сведено на нет; тем не менее, именно ощущение пульсаций, идущих в плазме, в гуще народа, определяет высоту и подлинную меру стиха.

Н. Рубцов слышал ее: пульсацию народа, тонкие токи земли.

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Как мощно, легко и природно, выдохнуто, введено в реальность...

Молитва словно мерцает за строками: высокая, данная силою небесных пластов, великолепно-поэтическая молитва.

...а вот – низовое, вечно бурлящее и бушующее в русском естестве, не поддающемуся сужению:

Сколько водки выпито!
Сколько стёкол выбито!
Сколько средств закошено!
Сколько женщин брошено!

Чьи-то дети плакали,
Где-то финки звякали...

Эх, сивуха сивая!
Жизнь была... красивая!

Страшно и точно, или страшно точно.

...кладбище часто возникает в поэзии Рубцова: и как конкретика, ожидающая всех, и как глобальный символ; кладбище, чьи могилы становятся звездами, перекликающимися таинственно с пургой:

Я пойду по угрюмой тропе,
Чтоб запомнить рыданье пурги
И рожденные в долгой борьбе
Сиротливые звёзды могил.

Но звезды иные манили Рубцова – сияющие из запредельных пространств духа, обещающие преображение всего: через грусть, через сквозные, и такие вроде бы спокойные ритмы хрестоматийного стихотворение «В горнице моей светло...», через все бездорожье российское, головотяпство, частое нежелание убирать грязь у себя под ногами: звезды той силы и тайны, которые рождали легенды о запредельном будущем, которое должно состояться, которое творится уже сейчас: в том числе благодаря высотам, которые может предложить поэзия.

6

Чудо Рубцова – в простоте интонации: такой общедоступной, такой своей...

Неповторимость каждого природного вида обретает неповторимость поэтической формулы; и они, соединенные в свод, сияют своеобразным исследованием России: тихой Родины.

Она тихая, кроткая, тяготеющая к святости.

Она тонущая в пьянстве, не способная убрать грязь под ногами.

Рубцов не отворачивался ни от чего, исследуя полюса, организующие русский космос...

Или он должен состоять только из лучевидных сияний?

Линии лучей-строк Рубцова очень тонки: они входят во многие души, облагораживая их, заставляя иначе чувствовать, несколько иначе думать...

И продолжает длиться чудо простоты, естественности интонации: будто поэт дышал стихом, как воздухом...